



ПРОЗА И СТИХИ

АНДРЕЙ ФРОЛОВ

АНДРЕЙ ФРОЛОВ

ПРОЗА И СТИХИ



Handwritten signature of the author, likely Andrei Frolov.

УДК Р
ББК 84(РР)6
Ф 91

Ф 91 ФРОЛОВ А.В.
ПРОЗА И СТИХИ.

– Орел: Издательский Дом «ОРЛИК», 2015. – 40 с.

«ВЫРАСТАЯ ДО ПРЕЖНЕГО РОСТА»

(из рецензии на книгу Андрея Фролова «Над туманом сад плывёт»)

Если раньше наша страна была самой читающей, то теперь у нас пишут и млад и стар. Я не говорю, что это плохо. Просто забывать нельзя: не каждый пишущий – поэт; не каждая зарифмованная строфа – стихи; и уж тем более: не каждое стихотворение – поэзия... Вот Андрей Фролов – поэт. Меня в этом легко и спокойно убедил его сборник лирических стихотворений «Над туманом сад плывёт». Эта книга, не располагая к веселью, радует. И, несмотря на сказочность названия, она очень даже земная. Да и тумана в ней нет: всё здесь ясно, как в погожий осенний денёк.

В книге есть удивительные стихи – в том смысле, что они написаны как бы с оглядкой в нашу не очень давнюю историю, но в тоже время – с взглядом в будущее. Автор пытается, если не разглядеть, то угадать грядущее. А, может быть, даже предостеречь от возможности такого поворота событий... (Поворот? Или повтор?). Это стихотворения «Смута» и «Царь примерял мундир»:

Убивают холопы царя,

Свято веря в крошечное счастье

Правда, последнюю строку я, естественно – только для себя, поправил так: «Слепо веруя в скорое счастье». Но в любом случае, дай Бог, чтобы это «убивают» оставалось только историей...

Хотелось процитировать стихотворение, первая строка которого стала названием моей статьи:

Вырастая до прежнего роста,
Человек возвращался с погоста.
Шли минуты, и делалось легче,
Распрямялись ладони и плечи,
Возвращались дела и заботы,
Воскресение шло за субботой,
Всё предельно понятно и просто:
Человек возвращался с погоста.

Сильные стихи? Мне кажется – очень! «Всё понятно и просто» – нам всем пора вырастать до прежнего роста.

Юрий АСМОЛОВ

© Фролов А.В., 2015
© Издательский Дом «ОРЛИК», 2015
© БУКОО «Орловский Дом Литераторов», 2015

ДУШЕГУБ

«Коллох-Душегуб» – так за глаза звали сельчане молчаливого сорокалетнего мужика из кривой хаты на отшибе. Когда он появился в деревне, точно не мог сказать никто. Порой казалось, что он жил здесь всегда – даже до бабки Настасьи, которой уже почти сто. Вроде Коллох был немым, хотя некоторые утверждали, будто раньше он разговаривал. Во всяком случае, слышал мужик отменно и всё понимал – тут уж сомнений быть не могло.

Жил Коллох полным отшельником в кривой хате на окраине села, в дом к себе никого не пускал, да и не было желающих набиваться к нему в приятели. Занимался тем, что резал из липы ложки, ковшики и прочую хозяйственную ерунду. Поделки свои разносил по соседям: зайдёт в хату, положит на сундук у дверей, постоит с минуту и уйдёт. Если что-то давали взамен – брал, нет – и так ладно.

А смежной профессией у Коллоха был убой различной домашней животины. Вся деревня шла к нему с этой надобностью. Даже те, кто без обмороков и желудочных колик сами легко могли оторвать курью башку, предпочитали не мараться лишний раз и несли скотинку к местному забойщику-любителю.

Коллох никогда никому не отказывал, лишь пасмурно усмехался в клочковатую бороду. Не говорил он и цену за свою кровавую работу – каждый от себя решал, чего и сколько дать.

Только Басов, гаишный начальник из райцентра, не имел с Коллохом никаких дел. Лет десять тому Басов выкупил у Самойлихи, увезённой дочкой в город «для уплотнения жилищно-

щади», домик в этой деревне и поселил в нём старушку мать. А на лето привозил и жену с сыном.

Гаишник презирал Колюха и открыто называл его живодёром, на что тот недобро шурился и по-волчиному скалил удивительно белые и ровные зубы.

На забой более крупной скотины – овец, свиней, коров, а порой и лошадей – Колюх ходил сам, прихватив неизменный свой отточенный тесак. А мелочь всякую – кур, гусей, кроликов и коз – принимал на своём дворе. Птицу бил Колюх красиво, споро – иной раз по два десятка к ряду. В сезон к подворью выстраивалась очередь. Неподалеку от его крыльца врос в землю огромный кленовый пенёк овальной формы, от частого употребления кругло выщербленный в сердёвке, и продолговатое долблёное корыто – для стока крови.

Деревенская ребятня, собираясь летними вечерами на гулёнки, пугала друг дружку рассказами, будто Душегуб в этукую убойную пору по ночам пьёт кровь из своего корыта, а потом ходит по деревне от дома к дому и заглядывает в тёмные окна. Говорили, что видели, как он на утренней зорьке лазает с примитивной острогой по мелководному пруду, а добытых карасей пожирает сырьём и лягухами закусывает... Много ещё чего говорили.

Случалось, сам Колюх вдруг бесшумно появлялся из темноты возле усевшихся вокруг магнитофона подростков, присаживался в сторонке на корточки и молчал. Хорохорясь друг перед другом, ребята не разбегались в страхе, только девчонки тесней прижимались к парням, да тема разговора менялась.

Как и в любой русской деревне, в этой тоже имелся свой дурачок. Славiku было уже под тридцать, но, вот беда, застрял малый в развитии где-то на десяти-двенадцати годах. Славик целыми днями бродил по селу и окрестностям, появляясь то тут, то там. В один из своих наездов в деревню гаишник Ба-

сов презентовал бедолаге потёртый милицейский китель с подполковничьими погонами, и теперь местный дурачок, мня себя чуть ли не начальником угро, проводил бесконечные расследования пригрезившихся ему преступлений. В кителе он, наверное, даже спал.

В ребячьих посиделках Славик принимал неперемное участие.

– Ну как, Славик, жизнь-то? – спрашивал гаишный сынок, пятнадцатилетний Пашка.

– Так чего ж, работаем, – отвечал дурачок, любовно поглаживая прицепленный на китель парашютный значок. – И не Славик я, а оперуполномоченный полковник города Болхова. У меня кабинет, знаешь, какой? И машина сто первая!

– Что-то я каждое лето приезжаю – ты всё без дела болтаешься. А говоришь, работаешь.

– А я... это... – терялся Славик.

– В отпуске? – подсказывала одна из девчонок.

– Точно! – дурачок расплывался в блаженной улыбке.

– Славик, ты – придурок, – безжалостно разяснял милицейский сынок. – Тебе наполеонову шапку дай – ты императором будешь.

– Чевой-то императором, – обижался Славик. – А у него какая шапка?

– Ну всё, достал. Вали отсюда, выродок. Иди бандитов лови. – Пашка лениво плевал в сторону блажного.

Неподалёку на корточках сидел Колюх-Душегуб и по обыкновению мрачно улыбался...

Весной Колюх подобрал котёнка. Котёнок был крохотный и дикий, жил в подвале сельмага и в руки никому не давался – если кто к нему приближался, шипел, фырчал, выгибал спину, будто пытаясь прикинуться маленьким одногорбым верблюдом, и исчезал в подвальных закоулках.

Однажды котёнок зачем-то сунулся в приоткрытую дверь магазина, но тут кто-то из покупателей стал заходить следом. Напуганный зверёк метнулся обратно и... почти успел выскочить. Не успела одна из задних лап – тугая пружина швырнула на неё стальную дверь.

Несколько дней прошло, прежде чем котёнок снова стал появляться в подвальном окошке. Он вконец истощал, а раненая лапка волоклась за ним окровавленным ошмётком.

Тут-то и заметил беднягу Душегуб, принесший в сельмаг свои деревянные товары.

Со спокойным упорством Колюх два дня охотился на котёнка. И подловил таки момент, когда оголодавший зверёныш залез с головой в целлофановый пакет с килькой, вынесенный сердобольной продавщицей. Колюх просто подошёл и за хвост поднял котёнка вместе с пакетом. Тот, попав в человеческие руки, разом обмяк, обвис всеми конечностями, будто притворился мёртвым.

Колюх сунул кошака за пазуху и ушёл домой...

Выходил Душегуб котёнка. Полтора месяца выхаживал и выходил. Бабка Настасья, сама известная травница, рассказывала, что ненароком видела, как Колюх пожуёт-пожуёт какую-то незнакомую травку и приматывает её тряпицей к котовой лапке. А сам зверёк, будто понимает, что его врачуют, висит в Колюховых лапищах, как пакля – не пискнет, не дёрнется.

К июлю котик был, как новый: округлился, распушился – усы топорщит, хвостом метёт. Только глаз недобрый – жёлтый, с лёгкой косинкой, и лапка раненая шерстью не обрастает – лысая. Признавал, понятно, одного Колюха – ластился к нему, мурчал. От других бегал и прятался. Осторожный был котёнок, да не уберёгся...

Возвращался как-то Колюх с луга, куда по непонятным делам своим ходил, и поодаль Настасьиной избы уже шёл, как

заметил неправильное, необычное. Что-то пацаны у бабкиного плетня крутятся, не иначе пакость какую затеяли.

Неправильного, по мнению Колюха, в этом мире было много, и в другой раз прошёл бы он мимо, но тут развернуло посмотреть, разобраться...

Главным в компании был милицейский Пашка – он и двое ребят помельче азартно расстреливали из пневматического пистолета Колюхова кошака, привязанного за лапу к плетню. Котёнок молча дёргался, прыгал в сторону, но верёвка бросала его назад, а крошечные стальные пульки взбивали пыль под его лапами и ерошили кошачью шерсть. Стрелки были неумелые, убойная сила оружия слабая, и только поэтому зверёк был ещё жив.

Пашка наверняка выцеливал притихшую вдруг жертву, когда полновесная затрепина свалила его носом в лопухи. Его приспешники, пригибаясь, прыснули в разные стороны.

Колюх подобрал пистолет, не глядя, разломил его надвое, будто пластмассовую игрушку, и забросил обломки подальше. Потом склонился над своим израненным питомцем.

Кошки, говорят, имеют девять жизней, но этого котёнка уже было не спасти никакими, даже самыми чародейными, травами. Он истекал кровью, перебитые лапы мёртво висели. Кошак пытался поднять голову, немо, по-рыбьи, открывал пасть, будто что-то хотел сказать Колюху, которого в деревне звали Душегубом...

Арестовывали Колюха всемером. Восьмым примазался было блажной Славик, которого впопыхах приняли за высокое начальство, но быстро разобрались и прогнали, надавав тумачков. Даже погон оторвали.

Когда оперативники вломились в хату, Колюх ладил липовый гробик для котёнка.

— Так-так, — сказал лейтенант, разглядывая Колюхов рабочий тесак с засохшими пятнами крови. — За ним, может, и посерьёзней дела имеются...

В суде Пашкины дружки показали, что избивал Душегуб парня ни за что, долго и жестоко. Вдобавок милицейский папаша принёс ворох медицинских справок, из коих, если их объединить в одну, следовало, что травмы, полученные его сыночком, несовместимы с жизнью, и, вообще, выжил Пашка чудом.

Пригласили на заседание и ещё одного свидетеля — бабушку Настасью, которая, как оказалось, видела из своего окошка всё происходящее у плетня.

— Вы видели, как подсудимый избивал потерпевшего? — спросила у неё строгая судья.

— Колюх-то? — переспросила напуганная принятием присяги и, вообще, официальной моментом бабка. — Конечно, сунул мальцу по тыльнику разик... может, два...

Сам Колюх в суде ни слова не сказал. И отправился по этапу...

Прошло пять лет. Колюх в деревню больше не вернулся. Говорят, порешили его в зоне уголовники. Да, наверное, врут. Я думаю, не тот Колюх человек, чтобы дать себя за здорово живёшь жизни лишить. Просто уехал куда-нибудь, не захотел вернуться в эту деревню. Пусть им кур теперь Пашка режет.

«МУСОРНЫЙ ДЕНЬ»

Что такое «мусорный день»? «Мусорный день» — это почти как праздник. Во всяком случае, так его ждут. А случается он раз в неделю — у нас это воскресенье. Именно в этот день по улице сверху вниз неторопливо, с длинными остановками, проезжает мусоровоз. Давно уже кем-то определены конкретные места, где грохочущая и дребезжащая машина останавливается, водитель как бы нехотя выкарабкивается из кабины, с глубокомысленным видом манипулирует рычагами сбоку кузова, и огромная шарнирная рука ставит на землю мусорный контейнер. А народ уже давно собран, организован и сплочен. Впрочем, по порядку.

Мусоровоз проводит тотальную чистку улицы примерно с часу до трех дня. Но ещё до полудня над нашей дверью визгливо кричит звонок: в калитку, боясь собаки, которой давно нет, просовывается соседка тетя Надя и торжественно возвещает:

— Сегодня — мусор!

Об этом никто не забывал, но соседку всё равно благодарят за хорошую весть. Ещё полчаса спустя отец начинает собираться.

— Пойду, — говорит, — на пост.

Мама возмущается:

— Куда ты? Только половина первого. Тебе что, до поста полчаса идти что ли?

Но это нужно понимать, этого события целую неделю ждала вся улица, на которой сегодня необычайнолюдно. Не удаляясь от своих калиток, прохаживаются разно одетые обыва-

тели. Кое-кто уже вынес и поставил – пока на этой стороне улицы – пластиковые вёдра, оцинкованные выварки, полиэтиленовые пакеты с мусором. Все поочередно подходят к проезжей части и напряжённо всматриваются вдаль. Народ пока разогревается общением с непосредственными соседями.

Другой наш сосед, Борис, выходит как всегда в сопровождении собачонки – сегодня это черно-белая Муха, значит, Жучка была в прошлый раз. Борис озабоченно спрашивает:

– Будет сегодня, не знаешь?

Отец не знает, но говорит, что нужно надеяться. Они начинают лениво обсуждать различные бытовые надобности. Муха, не очень-то обращая внимание на пристающего уличного кобеля, живо интересуется содержимым чужих мусорных ведёрок.

Ближе к часу народ, прихватив свои ёмкости с мусором, начинает перетекать на другую сторону улицы, к месту остановки мусоровоза.

Вот тут-то и разворачивается действие, ради которого, собственно, все и собрались, – живое общение по полной программе. Кумушки, в обычные дни не имеющие причин встретиться для обсуждения свежее испеченных новостей, собираются в небольшие группки и буквально рвут эти самые новости друг у друга изо рта. Хвастаются зятьями, прикупившими автомобили, шубы их дочкам, хрустальные люстры и кухонные комбайны. Проклинают зятьёв пьющих и нерадивых. Осуждают беспутную Нинку, заведшую «нового хахала», и Верку-дуру, от которой сбежал «мужик-золото».

– Петрович, выпьешь? – это мужики уже расположились на крыльчке одного из домов поблизости. Здесь беседы ведутся традиционно о «правильной политике президента», о том, что «щучу лучше брать в половодье, по мутной воде», о том, что «Спартак» вчера облажался не по-детски». По кругу ходит одинокий стакан, зато закуска припасена у каждого.

Притащилась, тяжело опираясь на клюку, древняя бабка из углового дома. В пластмассовом ведре погромыхивает коробка из-под кефира. Подошла к очередному впередсмотрящему, прошамкала беззубым ртом:

– Не видать, сынок?

Получив отрицательный ответ, поудобней упёрлась хилой грудью в свою клюшку и заснула этакой треногой.

Подтянулась и ребягня, которой нет дела до собственно мусора, но раз уж собрался народ, стало быть, будет весело. Гомонят, «салки» затеяли.

Настроение праздничное, сравнимое разве только с атмосферой майских демонстраций прошлых времён, когда люди вот также выходили из домов утром и, прежде чем отправиться по своим конторам и построиться в колонны, кучковались на родной улице, выпивали, шутили – общались, словом.

– Едет!!! – сверху вниз прокатилось по улице.

На секунду, вздрогнув, приостановилась ребягня, подобрались и теснее сплотили ряды взрослые. Действительно, в конце улицы, круто уходящей вверх, к вокзалу, показался трудно ещё различимый, но безошибочно узнаваемый мусоровоз.

Убедившись в неотвратимой близости апогея праздника, граждане возобновили разговоры, которые сделались более оживлёнными. Мальчишки с новой силой продолжили беготню и чуть не сшибли старушку, повисшую на клюке. Ведро с грохотом покатило по асфальту проезжей части, потеряв на ходу кефирную коробку.

– А ну, цыть! – неожиданно громко и грозно крикнула проснувшаяся бабка и, будто спохватившись, едва слышно проскрипела, неизвестно к кому обращаясь: – Не видать, сынок?

Ведро тут же вернули, сунув туда одинокую коробку.

– Видать, бабка, видать, – за всех ответил Николай из дома, что напротив нашего. – Уже на Индустриальном стоит.

Следующее после Индустриального переулка место остановки мусоровоза – наше. Тут уже из калиток начинают выглядывать те, кто до сих пор отсиживался дома. Это, которые или не в ладах с улицей, или молодые домохозяйки, коим с общественностью поделиться ещё нечем.

И вот мусоровоз скрипит тормозами и тяжело отдувается – прибыл! Контейнер установлен на землю и готов к заполнению. Но...

– Стоять! – громко командует водитель, закрывая грудью мусоровместилище.

Люди с уже занесёнными для броски вёдрами и пакетами удивленно замирают. Только старушка с клюкой, наверно, по причине глухоты деловито ковыляет к контейнеру и вываливает туда свою пресловутую картонку. Завершив ритуал, она не спешит уходить домой, а отходит в сторонку и снова повисает на клюке.

– Предупреждаю, – инквизиторским голосом заявляет водитель. – В следующий раз мусор буду принимать только по предъявлению квитанции. Небось, половина из вас не платит.

– Как не платит?! Кто не платит?! – возбуждённо шумит народ. – Все платят!

Люди с мусором напирают, машут руками и брызжут слюной. Интересно, как это «в следующий раз» этот бюрократ собирается защитить контейнер от справедливо возмущённых обывателей, для которых жизненно важно расстаться с накопленными за неделю отходами? Наверно, и сам водитель задался этим вопросом, а может, вспомнил, что для народа он – всего лишь мусорщик, потому что обречённо махнул рукой и отправился в кабину выкурить очередную сигарету.

Началось! Воздух, отяжелевший с прибытием мусоровоза, загустел окончательно от мелькающих пакетов и ведёрок, криков «Посторонись!» и волнами распространяющегося от контейнера амбре. Кто-то в суматохе наступил на Муху. Её

отчаянный визг послужил сигналом для начала следующего этапа мусоросдачи.

Нестройно захлопали калитки, из них рванули через трамвайные пути с вёдрами те, какие не общительные: и бегут-то неукложе, как-то бочком, суетливо – не наши люди. Молодые хозяйки семят, стесняясь домашних халатов, которые они одной, свободной, рукой пытаются запахивать на груди и удерживать от распахивания вниз. Получается плохо, дамочки краснеют и готовы провалиться сквозь землю вместе с вёдрами.

Трамвайное движение временно остановлено. Вагоновожатый понимает, что стихию не остановить, и даже не пытается нажимать на кнопку звонка – привык. Минимум десять минут трамвай будет стоять, пережидая, пока людской поток, катящийся через рельсы в обоих направлениях, станет жиже.

Контейнер наполняется быстро, граждане сноровисто бегают за новыми партиями отходов, торопясь выбросить всё, что можно. Те, что поопытней вышли семьями и за одну ходку вынесли, кажется, чуть ли не весь имеющийся у них скарб.

Издалека, сгибаясь под тяжестью полиэтиленового мешка, приплёлся дядя Роман – ему ближе на Индустриальный, но весь мусор сплавить там он не успел.

– Роман, по всей улице собирал? – шутит кто-то.

Водитель уже трижды дергал рычаги, и шарнирная рука размашисто опрокидывала контейнер во чрево мусоровоза. Опыт подсказывает, что четвертого раза не будет – впереди ещё почти пол улицы. Суматоха постепенно гаснет.

– Больше не принимаю! – кричит водитель, вскакивая на подножку. – Учтите, в следующий раз...

Не закончив, он снова досадливо машет рукой, прыгает в кабину и зло рвёт машину с места.

Всё. А народ не расходится. Исчезает лишь суетливое возбуждение, на смену которому приходит благодное удовлет-

ворение: большое дело сделали – надо бы спрыснуть по-настоящему. Что мужики и намерены осуществить, собираясь неподалёку, в тенёчке под липами. Потом кто-то принесёт низкий столик, достанут домино и будут, сдержанно матерясь, стучать костяшками уже дотемна. Женщины тоже не уходят, продолжая делиться впечатлениями о своей и чужой, да вообще – о жизни, в целом нелёгкой, но всё же дарующей редкие радости и оставляющей надежду на будущее, хотя бы в виде чумазых ребятишек, весело скачущих по уютным тротуарам родной улицы.

Заканчивается воскресный день. Заканчивается праздник, не быть которого просто не могло – ведь «все плотют».

ЕГИПТЯНКА

– Жизнь, ребятушки, порой, так вывернет, что диву даёшься, – говорил Семёныч, обращаясь к нам, молодым сотрудникам, вернувшимся в гостиничный номер под утро.

Был он человеком, по нашим меркам, пожилым – за сорок, тогда как любой из нас не дорос ещё до двадцати пяти. В совместную командировку мы попали впервые и мало чего о Семёныче знали, но прислушивались и не спорили, когда это не задевало обострённого молодостью максимализма.

– Я, когда помоложе, тоже прыток был, – продолжал Семёныч, а мы развешивали уши, догадываясь, что читать нравочения нам никто не собирается. – Тоже с ветки на ветку чижилом скакал и не ждал от судьбы окорота. Даже за границей бывал. Один раз, но мне и того хватило. В Египет сподобился – это вам не Польша-Венгрия, экзотика сплошная. Нет, не тогда, когда мы им дружественную помощь оказывали, а уже потом, когда туда на солнышке погреться ездить стали, вроде как раньше в Крым.

Длинным рублём я к тому времени закарманился лет на двадцать вперёд – двенадцать годков в Нижневартовске нефть качал, полным бирюком жил. Надоело, уволился и рванул к арабам. Полежу, думаю, на горячем песочке, жизнь дальнейшую спланирую.

Прелести египтянские описывать не буду: пальмы там, верблюды, бары, казино – это понятно, теперь, считай, каждый туда два раза в год мотануть может... Наши-то, конечно, и при социализме в африках встречались, только редко... Я вам, как планида моя в том Египте круто изогнулась, расскажу.

Казак я был вольный – ни семьи, ни друзей особых, при деньгах, хоть и не миллионер. Погулять тоже не дурак был – компания, вино, девчонки. Но то здесь, на родине, а там – хожу идиотом, тарабарщины ихней не понимаю, красоты туземные уже обрыдли. В общем, провалялся у моря две недели и затосковал, домой захотелось... А на пляже там, ребятки, ох, не затомиться – грех. Девки хороши – аж зубы сводит! Нет, арабесок-то египетских там не увидишь, а вот любые шведки-германки – это пожалуйста! Ноги километровые, груди голые, остальное тоже... На живот поворачивайся и глаза за тёмными очками зажмуривай – только так от конфуза спасёшься.

Не выдержал я: в последний вечер коньяку полбутылки выдул, иду к дежурному администратору... Это у нас в гостиницах одни бабы работают, у них – только мужики.

Объяснил ему руками, как сумел: нужна, мол, женщина на ночь. Сам глаза прячу – неловко мне какому-то арабу нужды свои – вполне естественные, кстати, – излагать. А он, подлец, скалится белозубо, ушишки свои топорщит и почти по-русски, как, к примеру, нанаец смог бы, отвечает: «Сию секунду».

Может, и послышалось мне, согласен, только он руками замахал, и подошли к нам четверо таких же чумазных. Заговорковали по-своему – вроде как, впечатлениями делятся. Стою болваном, слушаю, как они мою личную жизнь обсуждают. Хотел уже плюнуть и идти коньяк допивать, как один из них, в кепке и с фиксой во рту, за рукав меня хватает и тащит куда-то в угол.

Там, в потёмках, на стуле сидит ну совсем девчонка, в платки арабско-национальные закутанная – росточком мелкая, глаза большущие, испуганные.

Этот в кепке велит ей платки разматывать, и... Какая ж красота, ребята, глазам моим явилась!.. Шахиня!.. Чурек этот по имени её звал, только я не понял и про себя назвал Шахереза-

дой. Сашкой, значит... Девчонкой это она сперва показалась, а тут... Нет, словами я вам рассказать не сумею... В общем, не устоял я.

Арабский сводник с меня двадцать долларов требовал... У них доллары уже тогда ходили, задолго до нас. Я ещё удивился: дешёво...

История казалась нам забавной, мы подталкивали друг друга, перемигивались, цокали языками, выражая восхищение старшим товарищем, но его не перебивали.

– Ну, понятно, случайная связь – непрочная, стыдная, – продолжал Семёныч, не очень-то обращая внимание на наши ужимки. – Утром говорю ей: «Иди домой». А она снова в платки запаковалась, сидит меня глазами ест. Не понимает, вижу. Беру за руку – нежно беру – и вывожу в коридор. Она – в слёзы, лопочет что-то, обратно ко мне в номер рвётся. Может, денег просит? Даю – не берёт. Дела! Нет, думаю, так не пойдёт. Спустился в холл. А мой дежурный уже вахту отстоял – домой намылится. Поймал я его в дверях.

«Что же это, – говорю, – делается? Забирайте свою девчонку назад, нечего провокации устраивать!» Чёрный этот опять лыбится, руками разводит: не знаю, дескать, ничего. Я его за грудки: «Веди, – говорю, – к фиксатому, я ему морду-то подрихтую!» А тот уже сам, как чёртик, откуда-то из подсобки выскочил. Глаз из-под кепки жмурит, жестами спрашивает: «Что, девочка не понравилась?» «Понравилась, – говорю, – очень даже хорошая девочка. Уведите только её из номера моего, я же сполна расплатился». А он... Сперва я тоже не поверил, точнее, не услышал как бы... Так вот, он мне показывает: «Деньги платил – девчонка твоя». Я ему: «Дела мы с ней все поделали, спасибо, забирайте». Не хочет, злится уже... Долго мы с ним друг на дружку слюнями плевались, дошло бы и до драки, если бы какой-то из наших не оттащил меня и суть вопроса не растолковал.

Да-а... Такие вот у них нравы диковатые. Детей понаражают, а кормить-то их чем? Мальчишки ещё куда ни шло, а вот девок за людей там не держат. Нет, они, конечно, подрастят, в своём обычае воспитают. Но когда со жратвой совсем туго станет, натурально торгуют женщинами! Не во временное пользование – насовсем... А я-то думал, мне досталась жрица, так сказать, продажной любви!

Семёныч коротко потёр ладонью лысеющий лоб, отхлебнул остывшего чаю и продолжил:

– Я тогда, откровенно скажу, струхнул малость. «Прогоню, – думаю, – и дела мне до этой египтянки нету». Но тот, который наш, обрисовал перспективу её дальнейшую: обратно девчонку не примут даже за деньги, даже в прислуги не возьмут, и будет себя продавать по кабакам, пока не убьют или не изуродуют... Короче, пропала живая душа, и я к этому руку приложил.

Ох, как мне, ребята, захотелось домой, в Нижневартовск – вкалывать с утра до утра, жить без удобств, только бы не приезжать никогда в этот чёртов Египет! И, говорю я вам, сбежал бы малодушно, если бы ещё разок в глаза ей не посмотрел...

Да что тут... Привёз я эту проблему заморскую в Россию. Вместо багажа, вроде. Денег это, конечно, стоило, но дело не в этом. Осесть решил в вашем городе... Хороший городишко – тихий, зелёный. Ну, квартиру купил двухкомнатную, на службу не пыльную, но хлебную пристроился – живу себе. Сашка у меня вроде служанки так и осталась.

С работы прихожу – в доме чистенько, наложница моя на коленях, тапочки мне надевает, к столу накрытому за ручку ведёт... Готовка – язык проглотишь! Сама за спиной стоит, прислуживает. Я ей: «Сашка, сядь поешь». Пристроится на уголку, поклонит – чисто птичка. И опять на меня глазами бездонными смотрит.

Мужику-то что надо? Почёт и уважение ему надо. И чтоб в

дела его не лезли. И уют в дому. Ну и, конечно... это...

Словом, живу, как падишах на каникулах. Только замечаю: домой меня тянет после работы, будто пружина калёная сжимается ту же и ту же. И Сашка, вижу, ко мне тянется. А от того всё краше делается. Каждую минутку видеть её хочется, как о ней подумаю – такая в груди пустота ёкает, словно на самолёте – в яму...

Семёныч вдруг замолчал, зашмыгал носом, сделал вид, что поперхнулся чаем, потянулся за сигаретами. Закуривая, исподлобья быстро взглянул в нашу сторону.

– Вот так и присушила она меня, ребятки, египтяночка моя, – Семёныч вздохнул, всем видом показывая, что разговор окончен, что он и сам удивлён вдруг нахлынувшей откровенностью, отвернулся, будто и не рассказывал ничего вовсе.

Мы верили и не верили – очень уж неправдоподобной казалась эта история. Хотя... как знать. В любом случае конца её мы так и не услышали, но знать его хотели непременно, и как только Семёныч вернулся из душа, навалились на него с расспросами.

– А чего ещё-то? – вроде удивился Семёныч. – Я и говорю: никогда не ведаешь, где судьбу найдёшь. Так что, вы, молодёжь, гуляйте пока. А судьба, она сама, когда встретится – вцепится и не отпустит, за собой потащит... И не сделаешь ничего.

Помолчав немного, Семёныч добавил:

– А мы-то с Сашенькой? Живём. Она мне таких пацанов народила!.. Старший школу уже заканчивает... Вот только по-русски так толком и не выучилась. Да беда ли? Мы и без слов друг друга понимаем, потому что – любовь...

МОГИЛА

К середине сентября Белка занедужила, а двадцать четвёртого утром околела. Как лежала последние дни, не поднимаясь, возле печки, так и сдохла. Белка была стара, как сам Никитич, но старик всегда думал, что помрёт первым, и сильно переживал: как же собака останется без него, одна. И вот...

Никитич долго и бездумно сидел на низенькой табуретке перед собачьим трупом. Сам не заметил, как задремал, — просто выпал на время из пространства и всё.

Очнувшись, маятно топтался по горнице, шаркая по некрашеным половицам стоптанными ботинками. Таким кружным манером Никитич добрался до чулана и, откинув тяжёлую крышку дедовского сундука, стал перебирать хранящийся там скарб. Бережно доставал свадебный свой костюм, женины платья и кофточки, невесть как затесавшиеся в старый сундук почти новые современные джинсы внука Вовки. Вещи Никитич разворачивал, долго и придирчиво оглядывал, вдыхая нафталиновый дух, снова сворачивал и складывал аккуратной стопкой на стоявшую рядом лавку. Почти на самом дне лежала шинель, в которой с войны вернулся. Тогда, в июле сорок пятого, их роту только переобмундировали, а через неделю приказ: по домам. В дороге из далёкой Австрии шинель маленько, конечно, износилась, истёрлась по теплушкам да попуткам, но, следующие полсотни лет пролежав в сундуке крепко пронафталиненной, была теперь точно новая.

В горнице Никитич встряхнул шинель, подумав немного, срезал острым ножом подрастерявшие былой блеск «гербо-

вые» пуговицы и ссыпал их в карман штанов. Сержантские погоны трогать не стал. Он завернул в шинель закоченевшую уже Белку и, ступая осторожно и тяжело, понёс её в сад...

Никитич взял Белку озорным полуторамесячным кутёнком у Славки-охотника с той стороны деревни. Сколь лет-то прошло? Пятнадцать? Нет, семнадцать. Как раз в сентябре это было, полгода спустя как похоронил жену. Сын Серёга тогда уже работал в городе и домой навещался нечасто, а Никитич вдруг затосковал, неумогу стало без живой души рядом...

Положив Белку на пригорке промеж двух яблонь, старик вернулся к сараю за лопатой. Долго громыхал садовым инвентарём, переставляя с места на место стоявшие вдоль стены грабли, вилы, тяпки, поправляя висевшую тут же никчемную теперь конскую сбрую — лошади в его хозяйстве не было почти лет тридцать. Наконец выбрал подходящую лопату и вдруг всполошился, заторопился к оставленной без присмотра Белке.

Постояв немного, слезливо глядя вдаль, Никитич разметил контур могилы и неторопливо начал копать. Усталое сентябрьское солнце, взобравшись на вершину своей горы, вконец обессилело и стремительно покатилося вниз, к горизонту, будто стремясь быстрее достичь края Земли и сбежать куда-нибудь в Америку...

Когда Серёга с молодой женой перебрался из общежития в отдельную двухкомнатную квартиру, выделенную заводом, он звал Никитича в город, говорил:

— Что ж ты, батя, будешь тут один, как сыч, жить? Посмотри, от деревни ничего не осталось — все теперь в городе. Цивилизация, прогресс... На месте не стоим...

— Не поеду, — отрезал Никитич. — Куда от своих могил? Аннушка, мамка твоя, здесь, мои мать, да дед с бабкой... И не один я — у меня, вон, Белка теперь есть. А ещё, вишь, там, за ручьём, Макариха с Дашкой Марусиной живут, не делись

никуда. Да и Славка-охотник неделями в хате старой своей... А ты говоришь...

В следующий приезд Серёга пригрозил отцу увезти его силой. Никитич только пуце заупрямился, обиделся. Потом у сына родился свой сын, приезжать Серёга стал ещё реже – некогда, забот прибыло, стало не до капризного старика...

Копал Никитич усердно, истово, как молился. Поверху попадались толстые корни, перерубать их лопатой у старика не было сил. Тогда он становился на колени и отчаянно тюкал пружинистые деревянные топором. И снова вгрызался в землю, вспоминая, сколько перелопатил её родимой на войне, отрывая всяческие сапёрные коммуникации и укрытия, копая другие могилы, чаще братские.

Поначалу края ямы не слушались, норовили осыпаться, но потом пошла глина, и могила стала обретать чёткие прямоугольные очертания, становилась глубже и шире. Никитич, сам того не желая, копал могилу под размер человеческий, а не собачий.

Ровняя лопатой глинозёмные стенки, он вдруг обнаружил, что яма глубиной ему уже выше пояса. Тут Никитич понял, как сильно он устал, и присел на корточки в углу могилы. Он даже не почувствовал, как земля с рыхлых краёв потекла за ворот.

Приятно пахло сырой землёй. Никитич сидел, с невесёлым интересом глядя на снующих вокруг измочаленного топором яблоневого корня муравьишек. Мурашки думали, что заняты каким-то важным и ответственным трудом, а на самом деле – так, суетились, таская туда-сюда свои бледные яйца из порушенного муравейника. Так и люди: мыкаются по свету, бегут куда-то, подгоняемые то радостью, то бедой...

Никитич уснул – голова его мотнулась на ослабевшей шее и упёрлась в земляную стену. Путаясь в серых всклокоченных

волосах, по голове побежали муравьи, которым до холодов нужно было успеть построить новый дом...

Давно уже покоится в земле Макариха. Дашка Марусина, не выдержав безлюдья, сбежала в город, к сестре. Славка-охотник спился и на охоту больше не ходит, а значит, и в деревне не показывается уже лет десять. Никитич недавно ходил, смотрел: хата Славкина – он и прежде-то хозяин был кое-какой – совсем обветшала, собаки, одичав, разбрелись по округе пугать ночную тишь волчиным воем. Остался Никитич в деревне один.

«Как сыч» – говорит сын Серёга. Он теперь шофёром работает, возит какого-то городского начальника. Сын давно уже бросил уговаривать отца переехать в город, да и жилищные условия теперь, видать, стали тесные. Правда, приезжать стал чаще – в три недели раз. Серёга получает за родителя в райцентре фронтную пенсию и привозит ему еду: крупы всякие, макароны да тушёнку. Погреб у Никитича хороший – даже ливерная колбаса долго хранится.

Иногда летом сын привозит на неделю-другую Вовку. Никитич этому рад, но, беда, никак не может совладать с хмурым своим норовом, и внуку быстро надоедает гостить у деда. А что ж, мальцу уже пятнадцатый год – ему развлечения подавай. А где их взять в обезлюдной деревне?...

Пробудился Никитич от холода и тут же стал корить себя за недоделанную работу. Уже смеркается, а Белка так и лежит в шинельном саване, не похороненная. Кряхтя и цепляясь за черенок лопаты, старик поднялся, как-то отстранённо подумал, что выбраться из могилы у него уже не хватит мочи, и принялся размеренно, будто в полусне, углублять страшную яму.

В следующий раз остановился, когда до края уже едва мог достать рукой. Выбрасывать наверх землю стало трудно. Сквозь безлистые уже яблоневые ветки в яму равнодушно смотрел змеиный глаз луны, тишина нарушалась только не-

ясными шуршаньями на поверхности, за краями ямы, там, где всё ещё лежала Белка. Снова забеспокоился Никитич, зашарил скрюченными пальцами по земляным стенам. Разогнулся, насколько смог, даже на цыпочки привстал, нащупал наверху край грубого сукна и потянул к себе.

«Так и будем тут с моей Белкой, вместе», — деловито рассуждал Никитич, изо всех сил таща свёрток к краю ямы и отплёвываясь от летевшей в лицо земли.

Вдруг старик отчётливо понял, что силы его покинули и больше уже не вернутся. Он сполз всё в тот же могильный угол и неслышно заплакал. Необыкновенно светлые от луны слёзы медленно ползли по небритым морщинистым щекам и навсегда прятались в глубоких складках на шее.

Белка так и осталась на полпути к своему последнему пристанищу...

— Ты что удумал, старый?! — лохматый луч фонарика пробежал по стене ямы и упёрся в скорчившегося в углу Никитича. — Сам себя похоронить решил? А ну-ка...

Серёга за руку легко выдернул отца из могилы, поставил на ноги и, подхватив подмышки, поволок вниз с пригорка, к хате.

— Я тебе продуктов привёз... Днём времени не было, — приговаривал Серёга, удобнее перехватывая невесомое тельце старика. — А ты тут похороны устроил... Я те дам похороны!..

Никитич семенил слабыми ногами, спотыкаясь о корни, непонятно от чего редко всхлипывал и шептал невнятно:

— Белка сдохла... померла...

ПИРОГИ

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.

Там укутан в одеяло
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
- Не таскайте, пусть дойдут...

Но какой же запах вкусный!
И с самим собой в борьбе,
Я тащу сестре — с капустой,
С мясом — папе и себе...

Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит в доме мир и лад!

ПОЛИВАЛЬЩИК

Картину детства в сердце берегу я:
Володька Рыжий, дворничихин внук,
Схватив за шею радугу тугую,
Над головою чертит полукруг!

Широкий веер радужных осколков
С шипением врезается в газон.
А мы поодаль, хмурые, поскольку
К Володьке подходить нам не резон.

Штанины клёш – такая нынче мода,
Под синяком сверкает хитрый глаз...
Что говорить, он старше на три года –
Почти эпоха разделяет нас!

НА ПОКОСЕ

Отава изросью умыта.
Из лога выплыла заря.
Литовка шикает сердито
На неумеху-косаря.

Срываю потную рубаху –
Не деревенских я корней,
Но я упряма, и с каждым взмахом
Строка прокоса всё ровней.

Здоровье, вроде, не воловье,
А не устал за два часа –
Шепчу старинное присловье:
«Коси, коса, пока роса!»

БАБЬЕ ЛЕТО

Богом посланная милость –
Тёплый солнечный денёк.
Это лето зацепилось
Паутинкой за пенёк.

Продолжает труд тяжёлый
Забубённая пчела.
Пацаны бегут из школы
На окраину села.

Промелькнут по косогору –
Мимо пасеки, на брод.
А пескарь в такую пору
И на голый крюк берёт!

РЫБАК

С перегреву зарницами бредя,
День июльский отходит ко сну.
Напевая вполголоса, Федя,
Размахнувшись, бросает блесну.

Котелок, закипая, дымится:
Ох, ушица двойная густа!
Рыбы много пока в Моховице.
Федя знает такие места!..

Но не лезьте с расспросами к Феде –
Пропадут понапрасну труды, –
Он не слишком искусен в беседе,
Любит молча сидеть у воды.

Сырость гасит его сигарету.
Федя, пристально глядя во тьму,
Караулит бессонную реку...
Улыбаются звёзды ему.

* * *

Линялый август...
Встать до солнца,
Когда ещё в ознобе сад,
И пересуды у колодца
И вчерашние ещё висят;
Набросив – так, на всякий случай, -
На плечи дедовский бушлат,
Хрустя антоновкой пахучей,
Пробраться мимо спящих хат
За край села, где по-над лугом
Туман раскинулся ковром;
Брести в нём, влажном и упругом,
На колокольчики коров;
Ступить в дымящуюся реку
И плыть заре наперерез...
Каких же нужно человеку,
Помимо этого, чудес?

* * *

Надсадно выла автострада,
Горячим выхлопом дыша —
Через шоссе валило стадо
Размеренно и неспеша.

Тяжеловесны и угрюмы,
Как будто спали на ходу,
Коровы медленную думу
Жевали, точно лебеду.

И снисходительная жалость
К людской извечной суете
В глазах косящих отражалась,
Как в застоявшейся воде.

РОДИНА

Дойдешь до чёрного столба,
Сверни направо:
Твоя здесь скорбная судьба,
Твоя держава.

Твой худо-бедный огород
В тени крапивы,
Тебя заждались у ворот,
Рыдая, ивы.

В лугах не кошена трава
Четыре срока.
А мама?... Всё ещё жива,
Да одинока.

Ждёт обветшалая изба
Тебя так долго.
Сверни у чёрного столба, -
Нет выше долга.

ВОРОЖЕЯ

Ходили слухи: бабка ведьма,
Мол, ей и сглазить — плонуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Да ведьмам слухи — не указ.

Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,
И взглядом жгучее крапивы
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым бела
И подозрительно здорова...
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирлась молва...
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.

СТРОЙКА

Домишко скромный —
стена в кирпич
полгода строил
старик Кузьмич.
Село ворчало:
не тот, мол, пыл,
у Кузьмича, мол,
не хватит сил,
ровесник века —
не совладать...
Кузьмич кумекал,

где тѣс достать.
 Залил фундамент
 и начал класть
 на камень камень,
 перекрестясь.
 Стропила, кровля —
 не на авось.
 Забил к Покрову
 последний гвоздь.
 Приладил двери
 и вытер пот:
 — Ну, кто не верил?
 Глядите — вот...
 Присел в сторонке
 и вдруг... чихнул.
 Как о приёмке
 акт подмахнул.

СТОРОЖ

Десять лет колхоза нету,
 Сад давно уже ничей.
 Сторож ходит до рассвета,
 Он привык не спать ночей.

В ширину — шагов сто двадцать,
 Двести семьдесят — в длину.
 Он не может отвлекаться
 На бездельницу луну.

Перекурит за избушкой,
 Пристегнув себя к ружью,
 И пугает колотушкой
 Тень горбатую свою.

ХОЗЯЙКА ЯБЛОНЕВОГО САДА

Много яблок по деревне.
 Только знают пацаны,
 Что у бабушки Андревны —
 Просто диво, как вкусны!

И поэтому, наверно,
 Успевает только треть
 Урожая у Андревны
 Окончательно созреть.

Шибко сердится Андревна —
 Мол, коту под хвост труды, —
 Собирая на варенье
 Уцелевшие плоды.

И который год, не знаю,
 Всё стращает пацанву:
 — Вот ужо, кого споймаю —
 Ухи-т начисто сорву!..

А потом вздыхает глухо
 И, беседея со мной,
 Говорит:
 — Дурна старуха —
 Нешто слопать всё одной?

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Висели дома на высоких дымах —
 Отчаянно печи чадили в домах,
 И в каждой четвертой по счету печи
 Румянили к Пасхе бока куличи.
 Клубился ванильный над крышами дух,
 Творились молитвы устами старух,
 И вздох колокольный летел до небес,
 И верили люди:
 — Спаситель воскрес!..

* * *

Родина любимей не становится
 С добавленьем прожитых годов.
 По моей судьбе промчалась конница —
 Глубоки отметины подков.
 Выбоины тотчас же наполнила
 Светлая небесная слеза.
 Сердце от рождения запомнило
 Родины усталые глаза,
 Спрятанную в сумерках околицу
 И дымки лохматые над ней...
 Родина любимей не становится,
 Родина становится нужней.

ВОСПРИЯТИЕ УТРА

Еле светает, а я уже мчусь на работу
 и улыбаюсь такому ж, как сам, идиоту —
 каждое утро я бодро ему улыбаюсь,
 возле облезлой чугунной ограды встречаясь.
 Небо сырое висит в ожидании солнца,
 кажется, свистни —

и вниз оно тотчас сорвется.

Сплющит в лепешку
 своей многотонной громадой

мир,
 окруженный ажурной чугунной оградой,
 мир,
 где людей не собаки кусают, а люди,
 мир,
 неприютней которого нет и не будет...
 Всё же я рад за себя и того идиота —
 есть у нас общее:

есть у нас дом и работа,
 краешек неба, где каждое утро восходы,
 и обязательный минимум личной свободы.

* * *

В период коротких закатов
 Кусается злее недуг.
 Туман под деревьями матов,
 А воздух холодный - упруг.

Ночная тревожная птица
 Визгливо ругает росу...
 И очень легко заблудиться
 В себе, как в дремучем лесу.

* * *

Теперь, как и прежде, зима неизбежна.
 Хотя не морозно ещё и не снежно,
 Но в сумерках рыжих запуталось время,
 Как спички, сгорев, почернели деревья.
 А небо готово на землю свалиться,
 И первыми это почуяли птицы
 И, вскинувшись, высь надо мной раскачали.
 И сердце застыло в предзимней печали...

* * *

Всю-то жизнь мой отец слесарил,
 Почитая свой труд за честь.
 Под руками его плясали
 Все металлы, что в мире есть.
 Размечал заготовки, резал
 И паял, и клепал — за грош.
 И шутил:
 — Я тебе из железа
 Чёрта сделаю, если хошь...

А теперь, как его не стало,
 Прихожу я с вопросом:

– Бать,
Из какого, скажи, металла
Мне для сердца броню склепать?
Слишком много на нём отметин –
Так болит, что уж мочи нет...

Прошуршал над погостом ветер
И принёс мне отцов ответ:
– Ты, сынок, только с виду умный,
А на деле – совсем дурак.
Тех, кто ходит с плитой чугунной
Вместо сердца, полно и так.
Ты подумай-ка головою:
С железякой в груди ты б смог?
А болит... Знать, оно живое,
И ты этим гордись, сынок...

ПРО СОСЕДКУ

Долго не пишется...
Яблони ветка
Лезет в окошко, тихонько звеня...
Тут вот на днях прицепилась соседка:
«Ты, говорит, напиши про меня.
Я ж, погляди-ка, страдаю от веку:
Брошена, дети – сиротки, как есть...»
Как же, ну как объяснить человеку:
Судеб разбитых на свете – не счесть.
Нынче хорошее встретится редко,
Чаще – предательство, злоба, враньё.
Ну а соседка... Да что там соседка!
Я ведь уже написал про неё:
В этом стихе и вот в этом, и в этом –
Долго верёвочку горькую вью...
Нет. Обзывает хреновым поэтом –
Хочет фамилию видеть свою.

* * *

Кажется, я не умру никогда...
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
Смотрит насмешливо с неба звезда.

Ей говорю: «Не меня сохрани,
Но береги без конца, год за годом
Тех, кто с моим невесёлым уходом
Могут пред миром остаться одни...»

Сорванный лист устремлён в никуда –
То ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье...
Кажется, я не умру никогда.

БОБЫЛЬ

Под сочащимся ржавчиной краном
Торопливо стирает бельё,
Объявляет войну тараканам
И проигрывает её.

Вечерами вздыхает устало,
Как в период страды тракторист,
И заглатывает сериалы,
Поминутно влюбляясь в актрис.

Поливает щетинистый кактус,
Не надеясь, что тот зацветёт.
Если спросишь участливо: «Как ты?»,
Угловато плечами пожмёт.

ЮРОДИВЫЙ

Тих, одинок, печален.
 Нечего взять с него.
 Смотрит из-под развалин
 Разума своего:
 Взглядом пронзит тяжёлым,
 И не удержишь слёз.
 Папёрть метет подолом,
 Что-то бубнит под нос.
 Скорбный, как шорох листьев,
 Голос его дрожит.
 И от колючих истин
 В страхе народ бежит.

НАБАТ

Даже глухие его услышали.
 Даже немые вскричали в ответ...
 Он разрастался, уже не стихая,
 Мощной волною врывался в рассвет!

В небе клубился и падал отвесно,
 Людям до крови сжимал кулаки.
 Волей своей заострял повсеместно
 Вилы и косы, и просто штыки.

Гулкий,
 тревожный,
 надрывный,
 натужный,
 Как предвещение близкой беды...
 Даже безрукие взяли оружие.
 Даже безногие стали в ряды.

РЕПЕЙ

Под небом пыльным и сухим,
 Меж двух сквозных степей,
 Живет адептом строгих схим,
 Отшельником репей.

От зноя жилист он и чёрн,
 Тревожен, как беда.
 Корнями в выветренный дёрн
 Вцепился навсегда.

Когда тебе у той черты
 Случится проходить,
 Не пожалей глотка воды
 И дай ему попить.

КОММУНАЛКА

1. Утро

Понедельник. Час рассвета.
 Коммунальный коридор.
 В ожиданье туалета
 вяло тлеет разговор.
 И вот-вот совсем потухнет,
 темнотой углов распят...
 Озабоченно на кухне
 восемь чайников сипят.
 Завтрак. Судорожный выход –
 кто к станку, кто на базар.
 Дверь жильцов листает лихо,
 как услужливый швейцар.

2. Морской волк

Дядя Коля списан с теплохода –
 потому в запое третий год,
 и его мятежная природа

продыху соседям не даёт:
 то швырнёт их в пасть водоворота,
 то волной накроет штормовой...
 Зря, конечно, изгнан из морфлота,
 бывший первоклассный рулевой.
 Вот и сам он: в латаном бушлате,
 испитой и выпитый до дна,
 маятно распластан по кровати,
 будто вахта трудная сдана...
 Но вниманье: цокают стаканы —
 дядя Коля снова «у руля»...
 Стойкие к волнениям тараканы
 драпают, как крысы с корабля.

3. Зина

У Зины насуплены брови,
 житейская складка меж них;
 у Зины хромает здоровье,
 а тут ещё бросил жених.
 И что ему, глупому, надо?
 Да, впрочем, и парень-то — так...
 Устав от такого расклада,
 она попивает коньяк.
 Стучится под вечер к соседу,
 пытается выдавить смех
 и... с треском ломает беседу,
 озлобившись:
 — А чтоб вас всех!...

4. Вечер

К ночи тягостней промахи власти,
 откровенней мольбы стариков —
 и коммуна дробиться на части
 перещёлкой надёжных замков.
 Гулко кашляет, пьёт валерьянку,
 раздражаясь нахальством луны;

убеждает себя: спозаранку —
 на работу во благо страны.
 А когда перед самым рассветом
 беспокойным забудется сном,
 беспардонным охрипшим дуэтом
 прогнусавят будильник отпетый
 и дежурный петух за окном...

ПОСОХ

В зоревых, тяжёлых росах,
 В стылой сумеречной мгле
 По земле блуждает посох,
 Дыры делая в земле.
 Сеет смуту и раздоры,
 И судачат старики:
 — Бродит в поисках опоры,
 Твёрдой, праведной руки...

ВИДЕНИЕ

В котомке квас да мятный пряник,
 Большою думой светел лик —
 В моей отчизне каждый странник
 В своем убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога.
 Бела, как помыслы, луна.
 Спокойно спит моя страна,
 В своем величии убога.

Со старины привычна к боли,
 К обилью жертвенных кровей...
 Обрывки снов пасутся в поле,
 Их караулит соловей.

Серия:
«Орловские мастера слова».

Андрей Владимирович Фролов

ПРОЗА И СТИХИ

Дизайн и верстка – А.Е. Плетнёв

БУКОО «Орловский Дом Литераторов»

Издательский Дом «ОРЛИК»
(Орловская литература и книгоиздательство)

Издатель Александр Воробьёв
Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г.,
выдана Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Заказ № 07. Подписано в печать 19.02.2015 г. Тираж 100 экз.

Отпечатано на полиграфической базе
Издателя Александра Воробьёва:
г. Орёл, ул. 3-я Курская, 20.
Тел.: (4862) 76-17-15, 54-15-48, 48-12-05.
E-mail: orlik.av@yandex.ru | www.orlik-id.ru